



## ПРОЛОГ

Тюрьма — это не так плохо, как можно вообразить. Когда я говорю «тюрьма», то вовсе не имею в виду собственно тюрьму. Тюрьма — это такое место, которое вы можете видеть в старых кинолентах или документальных фильмах на государственном телевидении: все эти серые пространства со сторожевыми вышками по углам и ключей проволокой, закрученной петлями поверх высокой стены. Тюрьма — это где колотят ложками по прутьям решеток, затевают бунт во время прогулок в тюремном дворе и тащат самого тщедушного мальчишку-первоходка в душевую, пока охранник делает вид, будто не видит, бросают потом на произвол судьбы: пусть выбирается как знает, — и бледная кровь капает, смешивая малиновый и молочно-белый, по задней стороне его безволосых ляжек. И сумрачный взгляд его глаз навсегда остается обращенным внутрь.

По крайней мере, я всегда представляла тюрьму именно такой, но ничего подобного не наблюдалось в тюрьме округа Монтгомери. Тут имелось две комнатки: моя старая спальня на чердаке родительского дома была просторнее, чем они обе вместе взятые. Да, решетки здесь были, только закрывались они вручную, а не дистанционно, с бездушным электрическим клацаньем, таким символом несокрушимости. Темница в стиле комедии Энди Гриффита\*,

---

\* Гриффит Энди (1926–2012) американский актер, телевизионный ведущий, сценарист. — *Здесь и далее примеч. ред.*

тюряга из шоу, скорее дешевая пьеса на летний сезон, чем Достоевский, узилище для загадочного незнакомца, наделенного дрожащим тенорком и прибывшего в город с кожаной сумой через плечо, в которой потом обнаруживается решающая улика.

Койки в два яруса, туалет и пол, покрытый пестрым линолеумом, который так напомнил мне коридор больницы в нашем городке, что я задумалась, не один ли и тот же подрядчик поработал. После того как за мной закрылась дверь камеры, полицейский, который привел меня сюда после того, как они взяли мои отпечатки и сфотографировали, бросил на меня сочувственный взгляд, потом ушел. Когда-то давно, в старших классах школы, мы с этим парнем вместе ходили на один и тот же курс «французского для начинающих»: ему предстояло с грехом пополам набрать баллы для посредственного аттестата, а мне — начать долгий и кропотливый труд, увенчавшийся при выпуске премией Французского института. Коридор поглотил звук удаляющихся шагов, после чего воцарилась пронзительная тишина.

С той стороны, где располагался полицейский диспетчерский пост, можно было слышать, как кто-то печатал на машинке, очень неумело, и время от времени — кваканье полицейской двусторонней радиосвязи. Сверху доносилось гудение: смутный, трудно поддающийся определению звук — наверное, от электропроводки, проложенной за звукоизолирующими панелями потолка. Над собой я видела трубки невыразительного дневного света.

Теперь, работая в больнице, я иногда поднимаю голову, и мне кажется, будто я снова вижу этот потолок, эти трубки, что я снова заперта в крошечной камерке. Подавляющее ощущение, но не сказать, что очень уж неприятное.

Сидя на койке с зажатыми между коленями руками, я испытывала лишь облегчение. «Карцер, — вертелось в моей голове. — Тюряга. Кутузка». В попытке нагнать на себя страху с помощью всех этих дешевых жаргонных словечек, которые слетали с омерзительных рыбьих губ Эдварда Дж. Робинсона, когда я смотрела «Позднее шоу» в салоне: погруженный в темноту дом, серо-голубой, точно акулья шкура, экран, отец и мать спят наверху. Вонючая тюрьма, думала я. Большой дом. Но одна мысль никак не желала меня покидать: «Я одна. Одна».

Я легла на койку, подложив обе ладони под щеку, и закрыла глаза, ожидая, что в моих ушах снова раздастся голос, крик о помощи: принести чашку чаю, стакан воды, сэндвич, дать еще морфия! — но никто не заговорил; никому я больше не требовалась. И в моей душе воцарился мир, какого я не знала уже давно. А еще я была свободна. Свободна в тюрьме.

И впервые за много дней я даже смогла забыть это зрелище: мой отец с гладкими черными волосами и профилем, несколько расплывшимся из-за возраста и хронической усталости, сует ложку с рисовой кашей в безвольный рот матери, точно ворон, выкармливающий в гнезде своего вороненка. Неопрятные пучки волос на голове, блестящие пустые глаза. Ложка. Глотание. Ложка. Глотание. Сжатые в нитку губы отца. Слабое прищелкивание ее языка. Вспышка любви и отчаяния, на один лишь краткий миг озаряющая лицо, чтобы тут же погаснуть.

И сегодня я все еще вижу эту сцену, она проигрывается перед моим внутренним взором, распадаясь на отдельные составляющие, особенно ее взгляд или его. Но тогда, ночью в тюремной камере, она выключилась на несколько часов. Я только и слышала, что монотонное гудение проводов, которое наводило на меня воспоминания о шуме городской улицы в Лангхорне, если бы вы

пошли по ней летним днем, особенно там, где я жила, в районе больших домов.

Там всегда был этот странный гул. Если встать и прислушаться внимательно, вы могли догадаться, что это гудят сотни кондиционеров. Они гнали прекрасный, чистый и холодный воздух в прекрасные, чистые и холодные комнаты вроде наших, где лепнина потолка манила взгляд, который устремлялся вверх, от полированной поверхности обеденного стола, от подушек, разбросанных на большом, обтянутом коричневым бархатом диване напротив камина и рояля фирмы «Стейнвей».

Таким мне все это и вспомнилось, хотя в последние несколько месяцев жизни моей матери наш дом выглядел иначе: после того как диван из комнаты отдыха перетащили в гостиную, чтобы освободить место для больничной кровати; после того как всю мебель отодвинули впритык к стенам, чтобы могло проезжать инвалидное кресло; после того как бархатная обивка дивана была изгажена блевотиной и постоянно текущей слюной.

Сквозь мои веки просачивался тусклый красноватый свет и напоминал мне свет на тех же улицах в конце дня, особенно осенью. В тот волшебный час, когда машины — их было видно так хорошо, что безошибочно определялись владельцы, — бежали по нашим улицам, сворачивая на подъездные дорожки, или катили дальше, чтобы закончить путь где-нибудь в переулках или тупиках. Вон поехал доктор Белнап, педиатр, у которого я лечилась всю свою жизнь; и мистер Фрайер, который работал финансовым консультантом в городе и был одержим игрой в гольф; и мистер Дингл, директор школы, который мог позволить себе жить на нашей улице лишь потому, что его жена получила дом в наследство от родителей.

А потом, поздно ночью, после того как зажигались уличные фонари со своим собственным гудением, воз-

вращались и некоторые другие. Последним всегда был мистер Бест, окружной прокурор. Было время, когда мой брат Брайан развозил местную газету «Трибюн» по утрам, сразу после рассвета, и говорил, что каждый раз, когда он крутил педали вверх по подъездной дорожке, мистер Бест уже дожидался возле бордюра из пахизандры, отгораживающего дом от улицы, и в нетерпении постукивал узкой ногой в кожаном шлепанце. На нем всегда был халат: вельветовый зимой и хлопчатобумажный в полоску — летом. Он никогда ничего не дарил Брайану на Рождество, разве что бейсбольную кепку с девизом «Пусть победит лучший», с намеком на собственную фамилию\* (такие мистер Бест всегда раздавал в годы выборов).

Как раз приближался год выборов, когда я угодила в тюрьму.

Мимо моей камеры прошел полицейский. Мне было известно его имя: Скип, — хотя именной жетон извещал, что он Эдвин Как-Его-Там-младший. В последний раз я видела Скипа в декабре на городской церемонии зажигания рождественской елки, когда самой красивой была признана елка моей матери — с яркими, на грани безвкусицы, украшениями и большими красными бантами. Скип был в школьной баскетбольной команде и каждую игру просиживал на скамье запасных (его широкая спина напоминала подставку для книг). На другом конце скамьи обычно торчал коротышка по имени Билл, и оба дожидались, когда их команда вернется с площадки и они снова станут частью нервной суматохи — вроде как при деле. Вероятно, мой брат Джефф был знаком с этим парнем. Скип за городом, в одном из тех одноэтажных коттеджей с двускатной крышей, что понатыка-

---

\* От *англ.* best — лучший.

ны вдоль сельских дорог, которые местами выписывали головокружительные петли.

А дорог таких в нашем округе насчитывалось немало. Они уходили туда, где кукуруза вымахивала выше любого фермера, где под маленькими навесами на прилавках из клееной фанеры продавались помидоры и кабачки-цуккини, которые к августу вырастали огромными, точно бейсбольные биты. Поскольку их никто не покупал, дети любили колотить ими о стволы деревьев, чьи кроны образовывали негустой лесной полог. Как говорила моя мать, цуккини хороши лишь маленькими, пока не отпали цветки.

Округ Монтгомери представлял собой многие акры ферм и лесов, откуда брала начало широкая дорога, вдоль которой шли ряды мастерских по ремонту всякой авто-рухляди, пиццерии, магазины уцененной электроники, мини-моллы с отвратительной китайской едой навынос и парикмахерские в стиле унисекс. Продравшись сквозь все это, вы наконец прибывали в Лангхорн, образцовый городок, известный своим колледжем — домом с парадным крыльцом и веерообразным окошком над дверью, неохватными, точно бочки, дубами по обочинам, азаниями весной и гортензиями летом, горами опавшей листвы осенью. Имелся в Лангхорне обувной магазин, набитый практичной обувью на плоском ходу, и ювелирный, где в витринах лежали груды перстней-печаток. Пожилая чета Дуайн: Изабель и Дин — держали книжную лавку. Удалившись от дел большого города, супруги почти не консультировались со справочником печатных изданий, поскольку и так знали все, что происходило в книжном мире, как и прочие обыватели Лангхорна, которые были в курсе всех событий своего маленького мирка.

Тюрьма находилась за пределами «настоящего Лангхорна» (именно так всегда здесь говорили: «настоящий

Лангхорн»). И вы всегда понимали, кто живет на обсаженных дубами улицах, а кто — в хибарах и трейлерах за городской чертой. Рядом с тюрьмой находились склады, заправочная станция, супермаркет и магазин рыболовных снастей.

Полицейский Скип, сыгравший одну четверть единственной игры в выпускном классе, вечером явился проведать меня, потому что беспокоился, не плачу ли я от страха и одиночества. Боялся, что я слетела с катушек, ведь я сидела в тюрьме уже четыре часа, но мой отец до сих пор не приехал, чтобы внести залог и сказать: «Тяжелый выдался денек, дорогая?» — в этой своей манере, которая заставляла немногочисленных моих подружек сходить с ума по его голубым глазам, очаровательному изгибу брови и афоризмам. Доставив меня в тюрьму, полицейские ждали, что вот-вот распахнется дверь, ворвется отец и грозно спросит: «Могу ли я поинтересоваться, какого черта?» Мой отец председательствовал на кафедре английской литературы нашего колледжа и прославился своими англицизмами, которые приходились особенно кстати, когда он произносил речь в Женском клубе Лангхорна или в Епископальном книжном клубе на тему «Дэвида Копперфилда» (второстепенная книга, Элен, просто детская; «Холодный дом»\* для их мозгов слишком сложен) или «Гордости и предубеждения»\*\*. Когда я была помладше, отец, бывало, называл меня малышкой Нелл, а мама иногда звала Элли.

Поскольку отец не приехал, чтобы внести за меня залог, юный полицейский явился проведать напуганную девушку, которую ожидал увидеть в камере, и яв-

---

\* Роман Ч. Диккенса (1812–1870).

\*\* Роман Д. Остен (1775–1817), в котором реалистически показаны быт и нравы английской провинции с мастерством психологического анализа.



но изумился, обнаружив меня спящей под флуоресцентными лампами: колени подтянуты к груди, щека покоится на сложенных, как для молитвы ладонях (по крайней мере, так он потом рассказывал корреспонденту «Трибюн»).

Я увидела статью после того, как мой брат Джефф и миссис Форбург решили, что мне пойдет на пользу, если я узнаю, что говорят в городе. «Шокирован» — так описывала газета состояние Скипа. «Не поверил собственным глазам» — так, по их словам, он себя чувствовал. Сkip сказал, что в школе я всегда держалась холодно, с ощущением собственного превосходства и уверенности в себе, и был прав, а еще добавил, будто я очень умная, и в этом тоже не ошибся.

Но кое в чем Сkip был умнее меня, поэтому знал, что в тюрьме девушка, едва достигшая возраста, чтобы называть себя женщиной, дабы придать себе важности, просто обязана сходить с ума от страха и адреналиновой атаки и всю ночь не смыкать глаз, особенно девушка, заключенная под стражу по обвинению в убийстве собственной матери.

И вот он обнаружил меня спящей, со слабой улыбкой на губах.

Вы могли видеть эту улыбку на фото, которые они сделали на следующее утро, уже после того, как я появилась в суде, где меня обвинили в преднамеренном лишении жизни Кэтрин Б. Гулден, а вот судебная художница не сумела ее схватить, когда рисовала меня сидевшей рядом с адвокатом, назначенным мне судом, от бледно-голубой рубашки которого в маленьком душном зале нестерпимо несло потом.

Я помню, как меня преследовала мысль: обвиняемый, которого защищает тип в бледно-голубой рубашке, да еще с короткими рукавами, заранее обречен.

«И упекли ее в тюрьгу, — думала я про себя. — И срок вышел долгий».

Уже ближе к вечеру, когда на торговый центр, что напротив муниципалитета, легли тени и когда наконец за меня был внесен залог — десять тысяч долларов наличными и закладная на четырехкомнатный особняк с оборудованным подвалом, — когда я покидала тюрьму округа Монтгомери, эта сопровождавшая мой сон улыбка по-прежнему блуждала на лице: этакий кривой полумесяц повыше моего острого подбородка и пониже моего же острого носа.

На первой странице «Трибюн» я красовалась с улыбкой Моны Лизы: темные волосы заплетены в косу и убраны со лба; надменный «вдовый пик» (то есть треугольный выступ волос на лбу); бушлат поверх мешковатого белого свитера и грязных джинсов да едва заметная полоса грязи на щеке. И я знала, что даже те немногие, кто продолжал меня любить, теперь посмотрят и подумают: вот она, роковая спесь Эллен, которая может улыбаться в худший момент своей жизни.

Кое-кто действительно так и говорил, в последующие дни, но я никак на это не реагировала. Да и что я могла сказать? Стоило мне появиться на публике, как кто-нибудь выскакивал мне наперерез, тыча в лицо объективом фотоаппарата: ни дать ни взять ритуальная маска на вражеском лице. Я только и слышала, что голос в собственной голове — высокий такой, — который снова и снова повторял: «Улыбнись фотографу, Элли. Ты такая хорошенькая, когда улыбаешься».

Говорила моя мать, которая оживала у меня в мозгу, перекрикивая и Бекки Шарп, и Пипа, и мисс Хэвишем, и всех прочих вымышленных людей, которых я с помощью отца давным-давно научилась ставить куда выше, чем живых, из плоти и крови. Мама говорила, а я слу-

шала, потому что боялась, что иначе ее голос постепенно затихнет совсем; мимолетное видение сожмется до крошечной искорки и погаснет, исчезнет навеки, как фея Динь-Динь, когда ей никто не хлопал. Я слушала мамин голос, потому что любила ее. Пока мы были вместе, мама почти ни о чем меня не просила, так что я хотела сделать для нее хотя бы эту малость — запомнить, что надо улыбаться в камеру.

В конце концов я всегда делала так, как просила мама, даже если приходилось делать это скрепя сердце. Мне опротивел и кислый запах ее тела, и волосы цвета соломы в щетке, и судно у постели, и умывальник, и таблетки, которые нужно было ей давать, чтобы не кричала, чтобы не извивалась и не билась, точно форель на берегу, когда поднимаешь ее на остром крючке и жабры трепещут в агонии.

Я старалась исполнять все это и не кричать, не плакать: «Я умираю вместе с тобой», — но мама знала, чувствовала это, и в частности поэтому лежала на кушетке в гостиной и беззвучно плакала. Слезы придавали ее желтовато-серой коже, туго обтягивавшей кости черепа, глянцеви́тый оттенок плотной ткани, которую она раньше пускала на мебельные чехлы, или старых абажуров, которые она расписывала цветами, чтобы потом украсить мою комнату. Я старалась устроить маму со всеми удобствами, исполнять ее желания — все, кроме того, последнего.

Что бы ни говорили полицейские или окружной прокурор, что бы ни писали газеты, во что бы ни верили люди — и верят до сих пор, много лет спустя, — правда заключается в том, что я не убивала свою мать, о чем теперь сожалею.

## ЧАСТЬ I

Помню тот последний совершенно нормальный день нашей жизни, себя и своих братьев в тот ничем не примечательный день — вот как сегодняшней: теплый и душный будний день конца августа, когда серое небо низко висело над городом, как ватное одеяло, между пологими горными хребтами, окружавшими наш Лангхорн. В тот день мы отправились в кафе за мягким мороженым в побитом открытом джипе Джеффа, махая руками из окон. Мои братья были красивыми мальчиками, а впоследствии превратились в красивых мужчин. Брайан унаследовал черные волосы и голубые глаза отца, а Джефф пошел в мать: каштановые волосы, глаза цвета янтаря и длинное, усыпанное веснушками лицо.

Обоих к тому дню покрывал загар: все лето один работал лагерным помощником, а второй занимался садоводством. Я же была бледной, поскольку будни просиживала в офисе в Нью-Йорке, а на уикенды отправлялась по гостям на Файр-Айленд, где больше времени проводила не на пляже, а на вечеринках с коктейлями, поскольку среди моих знакомых большой популярностью пользовалась тема рака кожи и кремов от морщин.

Потом я часто задавалась вопросом, почему не пыталась продлить удовольствие того дня, почему не смаковала каждую его минуту, как тающее мороженое на языке, почему не понимала, как это здорово — жить нормальной жизнью, когда один день ничем не отличается от прочих. Но, наверное, такие вещи понимаешь лишь